



Andreas Langenohl

Официальные визиты. Интернационализация памяти о Второй мировой войне в России и Германии

## Международная конъюнктура исторической памяти в Европе начала 1990–х годов

Вплоть до 1980–х годов память о Второй мировой войне в европейских странах и в Советском Союзе была включена в символическую архитектуру системной конфронтации между Востоком и Западом, что и составляло ее характерную особенность. Правда, на официальных торжествах на первый план выступала память о жертвах войны и о победе над нацистской Германией. Этот мотив считался само собой разумеющимся, прежде всего в Советском Союзе, где память о "Великой Победе" над фашизмом играла роль центрального символа, олицетворяя собой моральное превосходство советского общественного строя в целом и коммунистической партии в особенности. Здесь, в СССР, такая память находила себе и определенное социокультурное соответствие (по крайней мере, непосредственно после 1945 года)<sup>1</sup>. Тем не менее мемориальные торжества 1960–1980–х годов всегда были явно связаны с системной конфронтацией между Востоком и Западом. Наиболее отчетливо эта связь выражалась в призывах к миру в Европе, которые повторялись на протяжении десятилетий, сопровождаясь ссылками на жертвы Второй мировой войны. Одновременно им сопутствовали взаимные обвинения в обострении гонки вооружений и уверения в мирном предназначении собственных ракет. В результате официальная мемориальная практика нормативно ссылалась не столько на побежденную нацистскую Германию, сколько на отношения между сверхдержавами, которые использовали историческую память для маневров по моральному оправданию собственных позиций.

После распада Советского Союза эта риторика отмежевания сменилась более нюансированными, но тем не менее по-своему проблематичными практиками *интернационализированной* памяти. Их пик приходится на официальные международные торжества, посвященные 60–й годовщине "Дня Д" (Нормандия, июнь 2004 года) и 60–летию окончания войны в Европе (Москва, май 2005 года). Эти празднества знаменуют собой предварительный финал определенного исторического развития, в ходе которого робкая поначалу транснациональная коммеморация в Европе и США превратилась в тесную систему циркуляции, вобравшую в себя в итоге и Россию. На уровне международной политики определяющим фактором этого процесса следует считать создание Европейского экономического сообщества, а затем его дальнейшее развитие в Европейское сообщество и Европейский союз. Центральная политическая мысль, заложенная в фундамент Европейского экономического

сообщества (названного вначале "Montanunion" – Европейское объединение угля и стали), заключалась в том, чтобы исключить саму возможность существования военных экономик в Европе благодаря тесной взаимосвязанности хозяйственных ресурсов европейских стран. Поэтому в основу ЕС заложен вывод из общего исторического опыта вошедших в него стран: никогда больше не допустить войны в Европе. Президент Германии Роман Херцог в своей речи на международном европейском Дне Памяти 8 мая 1995 года по случаю 50-летия окончания войны подчеркнул, что 50 лет назад "было открыто окно в Европу". Правда, именно эти слова могли быть восприняты и как выражение стремления к забвению. Однако Херцог подразумевал всего лишь завершение на уровне интерпретации символично-политического интеграционного проекта, изначально имевшего целью формирование общей, европейской памяти. Таким образом ФРГ при помощи транснациональной циркуляции символов Второй мировой войны оказалась интегрирована в международные мероприятия памяти о тех страданиях, за которые она несет политическую ответственность. Имплицитно, как теперь понятно, эта возможность на уровне международных отношений была создана уже самим фактом основания Европейского экономического сообщества.

Реальное ее использование, вероятно, было ускорено перестройкой символического арсенала западных обществ, ставшей тенденцией периода примерно между 1950-ми и 1980-ми годами. В эти годы произошел постепенный отказ от триумфаторской трактовки военного прошлого и в особенности от концепции "гибели на войне"<sup>2</sup>. Такой отказ не только связывал друг с другом поверх национальных границ различные пацифистские группы. В обстановке постоянной военно-ядерной угрозы, чреватой всеобщим уничтожением, стиралось значение самих этих границ. Сегодня репрезентация гибели на войне больше не относится как нечто само собой разумеющееся к символической оснастке этих обществ – напротив, в ее отношении наступил определенный символический кризис. Этот кризис очевиден уже из того, что павшие в бою стыдливо обозначаются как "casualties" (жертвы несчастного случая) и даже минимальное число убитых солдат из стран Запада заставляет представителей высшей государственной власти собираться вокруг цинковых гробов на аэродромах, а общественное мнение осуждает диверсии религиозных экстремистов-смертников как нечто неподвластное рассудку. Между тем не прошло и ста лет с тех пор, когда именно такую готовность к самопожертвованию требовали от солдат, которых сотнями тысяч натравливали друг на друга в Первую мировую войну.

Эта делегитимизация во второй половине XX века риторики триумфа способствовала символическому сближению между Германией, с одной стороны, и ее бывшим противником, с другой, – сближению, которое уже шло полным ходом к моменту, когда распался Советский Союз. Неудивительно, что мемориальные практики в постсоветской России реагируют на эту транснациональную структуру циркуляции символов принципиально иначе, чем это происходит в Германии.

Поездки представителей тех или иных стран на международные мероприятия в память окончания войны и их выступления на таких мероприятиях играют большую роль в интернационализации памяти. Как следует уже из самого термина "политический представитель", политики представляют не только *кого-то*, но и *что-то*. То, что к этому аспекту

сигнификации относятся всерьез, пожалуй, лучше всего выражается в "высокой школе дипломатии". Символическая ценность отдельных действующих на этом поприще лиц в отношении их собственной страны, страны назначения и их взаимных связей является тем решающим моментом, который позволяет интерпретировать намерения тех или иных правительств. Дипломатия показывает, что политики *отдельных* государств участвуют в *транснациональной* циркуляции символов, и в случае с международными памятным мероприятиями это выражается с особой наглядностью, ибо то, как интерпретируются жесты и слова того или иного политического представителя, зависит не только от него самого, но и от их значения в символическо-политической конфигурации мероприятия (в "протоколе"), а также от значимости репрезентанта в самой пославшей его стране. При этом мемориальные мероприятия особенно щекотливы, поскольку проводятся в специфических, так сказать, наполненных воспоминаниями местах, провоцирующих в ходе ритуала памяти символическую конденсацию прошлого ("lieux de memoire" – "места памяти", в понимании Пьера Нора). Приглашение зарубежного политического представителя на памятное мероприятие создает транснациональный интерпретационный контекст, который, однако, должен доказать свою пригодность к интерпретации "на месте", поскольку связь воспоминаний с определенными местами устанавливается раньше всякой рефлексии. "Успех" подобного мероприятия – то есть признание специфического *соответствия* акта воспоминания вспоминаемому и вспоминающим – определяется стяжением в одну точку, в место памяти, определяющее время и место воспоминания и таким образом как бы выдвинутое из прошлого в настоящее.

Эта принципиальная щепетильность памятных мероприятий является предметом публичных споров. Споры о том, кто кого и в каком из возможных сочетаний приглашает, а также "удался" ли сам памятный акт, занимают общественное мнение как минимум в такой же мере, как и сам объект воспоминания. Благодаря памятным мероприятиям становится возможным обсуждение как бы на инструментальном уровне того, каким должно быть нормативное содержание сегодняшнего представления о прошлом. Они олицетворяют собой как память, так и метапамять: с того самого момента, когда какое-то событие впервые становится предметом памятного мероприятия, каждое новое публичное воспоминание о нем становится повторением, продолжением или же разрывом с тем, первым воспоминанием. Будучи ритуальными событиями с принципиальной установкой на повторимость, мемориальные мероприятия как таковые связаны со своей собственной историей, никогда не представляя только сам объект памяти, но всегда еще и его предыдущие репрезентации.

Глобальную кульминацию развития интернациональных мемориальных торжеств на сегодняшний день представляют собой два мероприятия в память окончания Второй мировой войны, следующие друг за другом с небольшим временным отрывом: день памяти о высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года – о "Дне Д" ("day of decision", дне решения) в 2004 году и памятное мероприятие в Москве 9 мая 2005 года. Многочисленные поездки и встречи в связи с этими акциями раскрывают ту транснациональную, символическую циркуляцию, которая лежит в основе интернационализации памяти. Последствия их рассматриваются ниже на основе общественных откликов на эти мероприятия в Германии и России.

## 60–летие "Дня Д": приглашение Путина и Шрёдера с точки зрения европейцев

1 мая 2004 года в число членов Европейского союза вошли десять новых государств, в том числе немало бывших социалистических "стран–спутников" или даже республик СССР. Эта критическая дата, с точки зрения западноевропейских политических деятелей, сделала желательными более тесное общение с Россией и заявления о намерении сотрудничать с ней. Соответственно, и обмен официальными визитами между Германией, Францией и Россией в канун торжеств памяти "Дня Д" оказался в контексте усилий по успокоению России. В результате в апреле Шрёдер и Ширак один за другим посетили Москву: канцлер гостил у Путина в Кремле 1 апреля, а уже на следующий день с кратким визитом в Москву прибыл французский президент. В европейской прессе последняя акция толковалась на трех разных уровнях. Во–первых, отмечалось, что Ширак сделал Путину "ответный подарок" за свое приглашение в Москву, в свою очередь, пригласив его на международные памятные торжества. Во–вторых, подчеркивалось, что Ширак первым из высших зарубежных представителей смог посетить Главный центр испытаний и управления космическими средствами имени Германа Титова под Москвой. В–третьих, указывалось на уже упомянутую дипломатическую вереницу: за день до Ширака в Москве побывал Шрёдер, а днем позже – Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Приглашение Путина в Нормандию рассматривалось в контексте демонстративных усилий по снятию напряженности в отношениях между Европейским союзом (или шире – индустриально развитыми странами Запада) и Россией, о чем недвусмысленно свидетельствует следующее сообщение в газете "Neue Zürcher Zeitung" от 5 апреля:

В ответ на жест главы Кремля Ширак пригласил Путина на празднование 60–летия союзнической высадки в Нормандии в знак уважения к военным усилиям, которые Россия – тогда еще Советский Союз – взяла на себя во время Второй мировой войны. Ширак указал на то, что решающий перелом в этой войне был достигнут под Москвой, Курском и Сталинградом. Далее руководители двух государств высказались за усиление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и за удовлетворяющее обе стороны решение вопроса отношения Москвы к Европейскому союзу после расширения ЕС на восток в начале мая.

В Европе приглашение Путина рассматривалось в контексте необходимости международного сотрудничества, особенно в области борьбы с терроризмом. В такой трактовке жест Ширака, отдающего дань советским достижениям в ряду общих усилий, предпринятых в годы Второй мировой войны, одновременно выступает как гарантия современного сотрудничества, которое также должно оправдать себя в области борьбы. Тот факт, что бывший противник – нацистская Германия – остается неназванным, наглядно демонстрирует, что с западноевропейской точки зрения историческое измерение памяти о Второй мировой войне отступает на задний план по сравнению с требованиями современной политики.

Совершенно иной представляется ситуация с приглашением канцлера Шрёдера, отправленным ему за несколько недель до начала памятного

мероприятия. Это, так сказать, повторная попытка: десять лет назад Гельмут Коль уведомил Франсуа Миттерана, что не желает принимать участия в торжествах по поводу 50-летия сражения, в котором пали многие немецкие солдаты. Уже поэтому приглашение Шрёдера оказывалось гораздо теснее связанным с проблемой памяти как таковой, а точнее – ее *европеизации*, чем с контекстом современных дипломатических отношений. Европейским политическим деятелям, вероятно, казалась щепетильной ситуация, когда 1 мая новая группа стран вступает в ЕС во имя идеи европейского единства, а месяц спустя приходится вспоминать об охватившем Европу военном хаосе, который стал исторической предпосылкой для этой идеи. Этот хаос необходимо было осмыслить не ретроспективно, а перспективно, то есть имея в виду "окно в Европу", открывшееся, согласно Херцугу, с концом войны. Рассматриваемое таким образом, с позиции 2004 года, приглашение германского главы в Нормандию олицетворяло начало конца войны и тем самым – начало Европейского союза, а подходило оно для подобного толкования потому, что существовала метапамять о европейских памятных мероприятиях. Федеральный канцлер присоединился к символическому событию, имевшему уже собственный исторический вес и указывающему на значение Европы.

### **60-летие "Дня Д": восприятие участия Шрёдера в Германии**

Для европейского общественного мнения торжества в Нормандии оказались важной темой. Соответствующим образом воспринималось в Германии и в Европе и участие в мероприятии Шрёдера. Преобладали мнения и оценки, касающиеся того, как сам канцлер определял контекст своего участия в памятном мероприятии, – собственно предмет празднеств осмысливался мало. Это очередное свидетельство в пользу тезиса о том, что над памятью о Второй мировой войне в Западной Европе доминирует ее метапамять. 6 июня 2004 года Шрёдер дважды выступил публично: на главной церемонии международного памятного мероприятия в Арроманше и в программной статье на страницах газеты "Bild am Sonntag", где он связал свое выступление в Нормандии с ролью Германии в Европе. Оба текста определяются метапамятью. В массовой немецкой газете Шрёдер говорит о необходимости памяти, но также и о том, что "сегодня... мы, немцы, можем вспоминать об этой дате с поднятой головой. Победа союзников была не победой над Германией, а победой для Германии". Он отсылает к ставшему каноническим высказыванию Рихарда фон Вайцекера из речи 8 мая 1985 года о том, что 8 мая означало для Германии не поражение, а освобождение, – освобождение от "преступного режима" и "гитлеризма", определившее перспективу для всей Европы, которая теперь стала "наконец единой" и смогла "жить и праздновать сообща".

В противоположность назидательному оттенку в тоне статьи, мемориальная речь канцлера отмечена напряженностью: с одной стороны, он признает различия, существующие в памяти о войне во Франции и в Германии, а с другой стороны, в заключение объединяет немцев, французов и всех европейцев: "Мы хотим видеть объединенную, мирную Европу, всегда помнящую о своей ответственности за мир и справедливость на собственном континенте и во всем мире". Политическая ответственность Европы территориально расширяется благодаря тому, что горькая память оккупированных нацистской Германией стран признается и превращается в европейский "урок", воплощением которого стала "именно" Германия: "Европа выучила свой

урок, и именно мы, немцы, не собираемся вытеснить его из памяти. Граждане Европы и ее политики несут ответственность за то, чтобы и где-либо за ее пределами не появилось ни малейшего шанса для разжигания войны, для военных преступлений и терроризма". И так, немцы в речи Шрёдера наделяются обязанностью гарантов памяти и уроков истории. При помощи такой политической миссии разрешается противоречие между частными воспоминаниями и общим историческим уроком.

При сравнении двух мемориальных текстов обнаруживаются различные имплицитные отсылки к существующим в Германии традициям трактовки Второй мировой войны. В "Bild am Sonntag" находит выражение представление, определившее немецкие дебаты на протяжении всего послевоенного периода. Это тезис о том, что ответственность за преступления, совершенные в нацистской Германии, несет *режим*. Участие в торжествах на нормандской земле совместно с бывшими военными противниками демонстративно обосновывается статьей за счет семантического разделения "гитлеризма" и "Германии". Этому же служит и ссылка на речь Вайцекера, из которой заимствовано вовсе не указание на отдельные группы жертв, а сама мысль о том, что 8 мая 1945 года было для Германии освобождением. Статья Шрёдера вписывается в интерпретационную преемственность, которая оказывается оборотной стороной установившегося на сегодняшний день консенсуса о принципиальном значении нацистской диктатуры в самовосприятии Федеративной Республики – при том, что образ диктатуры перестал играть какую-либо роль во внутривнутриполитической дискуссии именно из-за всеобщего консенсуса в ее оценке<sup>3</sup>.

Напротив, в речи находит свое продолжение традиция памяти, возникшая позднее и впервые значимо заданная федеральным президентом Херцогом в его выступлении об "окне в Европу". У Шрёдера эта трактовка служит прямо-таки закрытию гештальта: осмысление отличных друг от друга горьких воспоминаний о Второй мировой войне возможно только с точки зрения современного политического примирения и единения Европы. Однако, в отличие от Херцога, парафразировавшего Европу скорее как пространство возможностей, Шрёдер уверенно рисует ее как политический проект, в который немцы включены не на периферии, а в качестве активных (и даже, поскольку они "не вытесняют" и "не забывают", – ведущих) участников. Так, память о конце войны из самоограничительной топики, которая всегда была присуща ей в контексте национального государства (как для консерваторов, так и для левых), в *европейском* контексте превращается в фактор самолегитимации.

В газетных комментариях различные традиции, имплицитно присутствующие в текстах Шрёдера от 6 июня 2004 года, переводятся в эксплицитный контекст метапамяти. Это демонстрирует и европейская печать. По отзыву британской газеты "Guardian", федеральный канцлер "подвел весьма значимый символический итог". "Le Parisien" характеризует Шрёдера как того федерального канцлера, "который открыл решающую новую страницу в истории немецко-французских отношений – тем, что принял приглашение приехать в Нормандию (отклоненное десять лет назад его предшественником Гельмутом Колем), и тем, что выступил там с недвусмысленной и мужественной речью". Газета "Corriere della sera" также отдала должное удачному решению Шрёдера, испытывавшего сильнейшее давление ожиданий

международной общественности, связать память с будущим, "не скрывая при этом собственную растроганность". Эти комментарии показывают, что участие Шрёдера в международном памятном мероприятии расценивалось и в контексте прежнего отношения Германии к собственному прошлому.

Эту двойную оценку того, уместным ли было подобное выступление федерального канцлера, отражает и дискуссия в самой Германии. Не считая возражений из рядов ХДС/ХСС, недовольных тем, что Шрёдер во время своей поездки не посетил ни одно немецкое военное кладбище, в целом его выступление было воспринято как подобающее случаю. Между тем, вскоре оно вновь стало предметом критики, правда, уже из леволиберального лагеря. Руководитель Берлинского бюро еженедельника "Die Zeit" Гунтер Хофман в своей статье (2004. No. 27) выразил не вполне отчетливое недовольство "историзацией" немецкого прошлого:

Канцлер не выбрасывает прошлое за борт и не говорит по этому поводу неправильные слова, но фактически именно под красно-зеленой режиссурой огромными темпами продвигается 'историзация' собственного прошлого. Но тогда возникает вопрос о том, насколько прошлое утрачивает свой конститутивный для самоидентификации республики характер?

Недовольство Хофмана вызвано подозрением, что немецкие политики в некотором смысле *слишком хорошо* извлекли уроки из прошлого и именно потому способны с этим прошлым расстаться. Обращение Шрёдера и Фишера с национал-социализмом в историческом контексте немецких памятных мероприятий расценивается как подобающее, но при этом именно в отношении этого контекста воспринимается как *чересчур* подобающее. Выступление Шрёдера, по мнению Хофмана, при всей его общей желательности, слишком необязательно. Ему соответствует германская политика в области прав человека, чересчур настаивающая на том, что Германия извлекла уроки из фашизма, и именно поэтому не замечающая собственные противоречия. Статья заканчивается хмурым пассажем: "Собственное прошлое, которое всегда в конце концов ускользало от всеобщего понимания, теперь предстает благоустроенным. Но странным образом вдруг ловишь себя на мысли, что хотелось бы видеть его менее упорядоченным".

Те, кто ловит "себя" на такой мысли, олицетворяют ту немецкую традицию толкования национал-социализма, которая представляет его конститутивным "другим" Федеративной Республики. Как доказывают Томас Херц и Михаэль Шваб-Трапп, "базовый нарратив" ФРГ противоречивым образом отсылает к национал-социализму: Федеративная Республика состоит с ним в формальном правопреемстве и одновременно содержательно от него отмежевывается<sup>4</sup>. Мне, однако, кажется, что этот дискурс звучит лишь в определенном политическом спектре – леволиберальном. Здесь интенсивной конфронтации с национал-социализмом придавалось определяющее значение: она выступала не как негативное поле для проекции собственной морально-политической позиции (как это происходило в официальном антифашизме ГДР), а как исторически определившийся, *объективный* именно вследствие непостижимости явления национал-социализма масштаб для оценки текущей политики. Западногерманское "Никогда

больше!" было не самонадеянной констатацией, как в ГДР, но перманентным напоминанием об угрозе всякой политике в связи с опасностью возврата к варварству. И этим же оно отличается от констатации Шрёдером того, "что война европейских народов друг против друга стала невозможной". Леволлиберальное недовольство интернациональным облачением немецкой памяти о Второй мировой войне выступает, таким образом, в виде сомнения, противопоставляемого интернационализации "облегченной" памяти.

### Восприятие международных памятных торжеств в России

Российские комментарии визита Шрёдера в Нормандию были благоприятными. "Известия" сожалели, что Коль не проявил готовности участвовать в памятных торжествах 1994 года, так как в этом случае, возможно, призыв к миру прозвучал бы еще сильнее. По сообщению пресс-службы российского МИД, Путин приветствовал участие Шрёдера и при встрече с канцлером подчеркнул, "что, по словам российских ветеранов, первыми союзниками советских войск в борьбе с фашистами были немецкие антифашисты. Глава российского государства отметил, что обе страны никогда не забудут историю, однако современное поколение в России и Германии не несет ответственности за то, что происходило раньше, и не может быть поражено в правах"<sup>5</sup>.

Эти примирительные слова были помещены в контекст столь же примирительного жеста – передачи Шрёдеру 8 июля приглашения участвовать в главном памятном мероприятии, посвященном окончанию войны, проведение которого в Москве намечено на май 2005 года. Впрочем, оценка интернационализации памяти в российских откликах, по сравнению с немецкими, оказалась некоторым образом ближе к событиям, о которых вспоминали. Абстрагированности от исторических событий (в лучшем случае кратко упоминающихся), столь типичной для комментариев западноевропейских масс-медиа, в российских СМИ противостоит заметная конкретность. Она проявляется, например, в помещенном на сайте "Russland.ru" сообщении о выставке под названием "Общая Победа", организованной информационным агентством РИА "Новости" в Париже и открывшейся незадолго до торжеств в Нормандии. О французском вкладе в победу здесь говорится следующее: "Сражающаяся Франция представлена на выставке изображениями летчиков легендарной эскадрильи "Нормандия–Неман", которая может гордиться 273 сбитыми немецкими самолетами"<sup>6</sup>.

Подобная, непривычная для западноевропейского контекста конкретика указывает на по-прежнему неизменно присутствующую в российских дискуссиях 1990-х годов идею "Великой Победы". Показательный пример – статья директора Центра международных исследований Института США и Канады Российской академии наук Анатолия Уткина в "Литературной газете" (2004. №. 48), представляющая собой крайне резкую реакцию на обращенный к зарубежным политикам призыв некоторых депутатов Европейского парламента отказаться от участия в московских торжествах в мае 2005 года<sup>7</sup>:

Немцы, мол, уже не те, а зверства были по обе стороны того фронта; давайте забудем всех тех, кто надевает 9 Мая ордена и медали, – ведь столько лет прошло. Какое право имеют эти люди предлагать забыть незабываемое?! Ведь это *мы, наша страна спасла их дважды за прошлый век!*



Непосредственно за этим обвинением приводятся многочисленные исторические факты, но также и центральные для Советского Союза и России символы памяти о Великой Отечественной войне<sup>8</sup>: вспоминаются те, кто закрывал своей грудью вражеские амбразуры и бросался с гранатами под танки, или повешенная эсэсовскими палачами школьница Зоя Космодемьянская. В конечном итоге инициатива членов Европарламента представлена как очередное доказательство сознательной политики забвения со стороны "Запада", якобы уже давно пытающегося принизить российско-советский вклад в победу над нацистской Германией: подобные же попытки, по мнению автора, и привели в свое время к "холодной войне".

Статья под заголовком "Нашу Победу – нам защищать!" отображает полемику, которая длится в России уже более десяти лет, но пик которой пришелся на первую половину 1990-х годов. Тогда представленные в статье топосы памяти использовались в общественных дебатах как средство защиты от тех, кто принижал историческое значение Великой Победы. Дебаты разгорелись на фоне дискуссии о роли Сталина в Великой Отечественной войне. Антисоветски настроенные интеллектуалы, ссылаясь на новые исследования российских историков, доказывали тогда, что Сталин и КПСС вели "бездарную войну", бессмысленно увеличившую число жертв<sup>9</sup>. Некоторые в своей аргументации доходили до утверждения, будто Гитлер, осознанно или невольно, всего лишь опередил Сталина, планировавшего превентивный удар по Германии<sup>10</sup>. Попытки такого пересмотра вызывали бурный протест. Ведь они, хотя и не подвергали намеренно сомнению историческое значение Великой Победы, все-таки ставили под вопрос смысл огромных человеческих жертв, понесенных ради ее достижения<sup>11</sup>. Противостояние двух этих позиций приобрело в 1990-е годы характер "идеологической блокады усвоения уроков" (Макс Миллер), поскольку каждый лагерь оспаривал право другой стороны на публичное выражение ее мнения, упрекая ее в предательстве интересов народа. При этом антисоветски настроенные интеллектуалы обвинялись в том, что, с одобрения Запада, умаляли заслугу русского народа в победе, а сторонники ортодоксальной трактовки – в том, что умалчивали о преступлениях Сталина против этого народа.

Эта конфронтационная схема представлена и в статье Уткина, но место обвинявшихся прежде критиков из собственных рядов занимает теперь "Запад". Здесь артикулируется оскорбление, якобы нанесенное коллективной памяти о войне бывшими союзниками, в продолжение возмущения по поводу несостоявшегося приглашения России на торжества по случаю 50-летия высадки в Нормандии. Многие российские интеллектуалы и историки тогда заподозрили Запад в желании создать такое впечатление, "будто бы не было великой битвы под Сталинградом, ставшей символом начала стратегического поражения Германии, не было [...] многих других сражений на советско-германском фронте, приведших к коренному перелому в войне"<sup>12</sup>.

Статья Уткина, несомненно, не репрезентативна для российских дебатов в целом. Тем не менее она маркирует ту символическую границу, которую, с российской точки зрения, преступать нельзя: интернационализация памяти должна ориентироваться на *признание определенной трактовки победы*. Благожелательные комментарии по поводу участия Шрёдера в торжествах на нормандской земле и его

приглашение в Москву лишь мнимо противоречат этому. С российской точки зрения, политические представители Германии на самом деле являются скорее периферийными фигурами памяти о Великой Отечественной войне. Значимыми же являются бывшие западные союзники, от которых ожидается признание решающего вклада Советского Союза или России в общую победу.

Именно в этот контекст помещается детальное и красочное изображение усилий советского / русского народа в его борьбе за достижение победы над нацистской Германией. Понесенные жертвы требуют от потомков не такого почитания, о котором говорил Шрёдер в своей речи 6 июня, вспоминая павших в десантной операции, могущего заключаться в признании различий в воспоминаниях. Эти жертвы требуют *однозначного* признания своего исторического свершения "навсегда". И в России память о войне далека от триумфаторской риторики и от оправдания "гибели на войне"; но эта гибель, в отличие от отношения к ней в Западной Европе, вспоминается во всей своей *монументальности*, а не теряется в игре приемлемых различий.

## Итог

Можно задаться вопросом, легитимно ли вообще сопоставлять изменения в памяти о Второй мировой войне в России и в Германии – слишком очевидны различия между сравниваемыми предметами. С одной стороны – национальное государство, в формально–правовом отношении наследующее нацистской диктатуре, много десятилетий вписанное в западную систему международных отношений. Именно внутри этих связей оно постоянно и последовательно сталкивается с необходимостью критического рассмотрения своего преступного прошлого – не только войны, но и в первую очередь Холокоста. С другой стороны – остаточная часть поликультурной империи, в глазах которой память о Второй мировой войне угрожает памяти о Великой Отечественной, значение которой является масштабом для всякого поминовения. Каким образом сравнивать воспоминания потомков "нации преступников" (по выражению Райнхарда Козеллека) с воспоминаниями потомков "народа–победителя" (по словам Александра Панарина)?

Именно эти несопоставимость и своеобразие и оказываются втянутыми в неизбежные взаимоотношения благодаря международным памятным мероприятиям. В будущем их *придется* сравнивать, если мы хотим сохранить международную память о развязанной Германией Второй мировой войне и Великой Отечественной. В результате такого воспоминания, в которое оказываются втянутыми наносящие официальные визиты политики, не только возникают проблемы взаимного перевода памяти национальных государств в интернациональную память и наоборот, но и ретроспективно становятся проблематичными прежние мемориальные практики.

В этом смысле Германия и Россия сравнимы. В немецкой общественности перед вызовом стоит здешняя (леволиберальная) интерпретационная культура, поставившая в центр внимания память жертв нацистской Германии и невозможность обычного исторического постижения этой памяти. Такое осмысление оказывается проблематичным в результате ретроспективного, международно санкционированного толкования, по которому эти жертвы указывают на то, в принципе желанное, настоящее, которое объединяет бывших

преступников с бывшими победителями. Именно таким образом проявляется гибридный характер самого разделения на преступников и жертв, которым питается историческая память ФРГ – начиная со спора о том, кто, собственно, является жертвой и кто преступником, и кончая модернизацией понятия "преступник", достигаемой замещением "вины" "ответственностью". В Нормандии Шрёдер осуществил перекодировку победителей в избавителей, а тем самым и преступников – в спасенных (а не в побежденных или жертв).

Российско–советская культура интерпретации Великой Отечественной войны также изначально была гибридной и полиморфной. Она тоже покоилась на одном центральном делении – на различии победителей и побежденных. Победили народ и партия, побеждены были немецкий и европейский фашизм. Сразу после окончания войны Советский Союз представлял собой "общество веры и надежды" на мир, который должен был наступить вслед за победой над варварством национал–социалистической Германии<sup>13</sup>. Между тем в ходе системной конфронтации Востока и Запада и образования блоков начиная со времен Брежнева место "побежденных" в официально–публичной памяти о войне заняли "спасенные" – ведь их спасение легитимировало советскую гегемонию в Восточной Европе. Лишь к концу существования Советского Союза эта ассоциация с победителями и спасенными была потеснена внедрением третьего различия – между преступниками и жертвами. Антисоветские интеллектуалы и победителей, и спасенных стали воспринимать как жертв советского режима. О степени шокирующего воздействия, которое произвел этот вызов на постсоветскую культуру интерпретации, может свидетельствовать то обстоятельство, что возникшие в результате конфликтные модели продолжают существовать до сих пор. В данный момент они играют важную роль в критике интернационализации памяти Великой Отечественной войны. Эта критика направлена против аннулирования морального статуса победителя – статуса, который основан на убеждении в осмысленности жертвы, принесенной советским народом.

Таким образом, в Германии, как и в России, есть тенденция проблематизировать сам процесс введения памяти в новое, интернациональное русло. В этой тенденции отражается трудность интеграции прежних трактовок в новые условия. Речь идет о памяти о прежней мемориальной практике и возникающем в результате конфликте между памятью и метапамятью. При этом в Германии в процессе ее интеграции в интернациональный контекст приходится легче, чем в России: для нее существует перспектива *включения* в существующие памятные мероприятия, которые затем получают новое толкование в рамках общих проектов, устремленных в будущее. Впрочем, многие видят в этом и угрозу забвения нацистского прошлого. Нельзя исключить и то, что благодаря процессу интернационализации немецкой памяти дело дойдет до еще большего "приручения" леволиберальной мемориальной парадигмы. Ее центральная идея состоит в том, что любая германская политика должна соизмеряться с ответственностью за последствия немецких преступлений. Эта парадигма и так уже ослаблена благодаря надпартийному и именно потому не имеющему политических последствий консенсусу о том, что Освенцим "в каком–то смысле" важен для Германии.

В России, напротив, говорится скорее о необходимости самоутверждения в рамках международных памятных мероприятий. Простое

присоединение к уже существующим практикам отвергается в связи с прежней практикой памяти о Великой Отечественной войне – его считают равнозначным символическому умалению исторической заслуги Советского Союза или России. Таким образом, интернационализация памяти ведет прежде всего к расширению той аудитории воспоминаний, которая обязана соглашаться с определенной, не подлежащей сомнению трактовкой войны и Великой Победы. Теперь речь идет уже не только об антисоветски настроенных критиках в собственной стране, но и практически обо всем западном мире (исключая, ироничным образом, Германию, с которой слабо соотносится постсоветская культура памяти). Результат таких ожиданий, обращенных к международной (западной) общественности, – заранее запрограммированные разочарования и фрустрации, которые порождались и еще будут порождаться международными памятным мероприятиями.

*Авторизованный перевод с немецкого Игоря Ермаченко*

- 
- <sup>1</sup> Зубкова Е.Ю. Общество, вышедшее из войны: Русские и немцы в 1945 году // Отечественная история. 1995. No. 3. С. 90.
- <sup>2</sup> См.: *Mosse G.L.* Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. New York; Oxford, 1990.
- <sup>3</sup> Ср.: *Langenohl A.* In der PR-Abteilung der Deutschland-AG? Über den Entschädigungsfonds für NS-Zwangsarbeiter // *Willems H.* (Hg.). Die Gesellschaft der Werbung. Opladen, 2002. S. 301–322.
- <sup>4</sup> *Herz Th., Schwab-Trapp M.* Umkämpfte Vergangenheit: Diskurse über den Nationalsozialismus seit 1945. Opladen, 1997.
- <sup>5</sup> [www.ln.mid.ru/va\\_sob.nsf/0/466f32ae14f21b8ec3256eb6003b7c4b?OpenDocument](http://www.ln.mid.ru/va_sob.nsf/0/466f32ae14f21b8ec3256eb6003b7c4b?OpenDocument).
- <sup>6</sup> <http://russlandonline.ru/rumed0010/morenews.php?iditem=108>.
- <sup>7</sup> Мне по своим источникам не удалось проверить, прозвучал ли такой призыв в действительности.
- <sup>8</sup> Ср.: *Сенявская Е.С.* Героические символы: реальность и мифология войны // Отечественная история. 1995. No. 5. С. 30–44.
- <sup>9</sup> Ср.: *Ферсоби В.В.* Заметки бывшего сержанта гвардии о войне // Вопросы истории. 1995. No. 5–6. С. 121–130; *Петров Б.И.* О стратегическом развертывании Красной Армии накануне войны // Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Незапланированная дискуссия / Под ред. В.А. Невежина. М., 1995. С. 66–76.
- <sup>10</sup> Ср.: *Мельтюхов М.И.* Споры вокруг 1941 года: Опыт критического осмысления одной дискуссии // Отечественная история. 1994. No. 3. С. 4–22; *Невежин В.А.* Речь Сталина 4 мая 1941 года и апология наступательной войны // Отечественная история. 1995. No. 2. С. 54–69.
- <sup>11</sup> *Богомолов В.* Срам имут и живые, и мертвые, и Россия... // Свободная мысль. 1995. No. 7. С. 79–103.
- <sup>12</sup> *Чубарьян А.О.* Война и судьбы мира: проблемы исторических исследований // Свободная мысль. 1995. No. 2. С. 53–54.
- <sup>13</sup> *Зубкова Е.Ю.* Общество... С. 98–99.

---

Published 2005–05–03

Original in German

Translation by Igor Yermachenko

Contribution by Neprikosnovennij Zapas (NZ)

First published in *Osteuropa* 4–6/2005 (German version) and *Neprikosnovennij Zapas* 40 (Russian version)

(c) Andreas Langenohl/Osteuropa/Neprikosnovennij Zapas

(c) Eurozine